

RUGRAM

ИВАН ШМЕЛЁВ

Человек из ресторана



ПАЛЬМИРА
RUGRAM

УДК 82-821
ББК 84(2Рос-Рус)
Ш72

Шмелёв И.

Ш72 Человек из ресторана : [повести, рассказы] / Иван Шмелёв. — СПб. ; М. : «RUGRAM_Пальмира», 2021. — 311 с. — (Серия «Пальмира — классика»).

В этом сборнике представлены повести и рассказы, созданные И. Шмелёвым в разные годы. Наряду с широко известной повестью «Человек из ресторана» (1911) в книгу вошли произведения мало известные: «Гражданин Уклейкин» (1907), «Неупиваемая Чаша» (1918), «Родное» (1935) и другие.

УДК 82-821
ББК 84(2Рос-Рус)



ГРАЖДАНИН УКЛЕЙКИН

I

— Уклейкин идет! Уклейкин идет!..

Мальчишки бросали бабки, собирали змеи и бежали на улицу. Полицейский, кидавший в рот семечки у окна прачешной, выдвигался на мостовую. В самоварном заведении Косорылова стихал лязг, и чумазы медники высыпали к воротам. Портнихи вытягивались из окон, роняя горшки герани.

— Идет!.. Твердо идет нонеча.

Головы поворачиваются к посту.

— Ладушкин дежурит...

— А што твой Ладушкин!.. Махнет проулком... Как намердн в одной опорке-то стеганул!..

— Ужли не прорвется, а?

— Сурьезный штой-то...

Всем хочется, чтобы Уклейкин прорвался на Золотую улицу, в публику. За ним ринутся, и будет скандал.

Уклейкин начнет откалывать, прохватывать и печатать, начиная с головы и кончая подчаском. Пока захватят и погрузят на извозчика, он высыплет много кое-чего, о чем не говорят громко, а разносят из дома в дом так, что сейчас же узнают на задворках; что казалось забытым и вдруг всплывает; что было даже одобрено про себя, но чего в открытую еще стыдятся; что шмыгнуло мимо портфелей следователя и прокурора, ловко избегло удара печатного станка и вдруг непонятным путем встряхнулось в помраченных мозгах и гулко выкатилось на улицу из сиплой глотки полупьяного сапожника.

— Чего глядите-то?.. Уклейкин, что ли-ча, идет? — спрашивают сверху портнихи.

— Мчит! Спускайтесь, Танечка!

— А ну вас... Нам и здесь хорошо.

— Им не годится середь публики в открытом виде.

— Варька-то, Варька-то распозлась! ровно как мягкая...

— Со щиколладу. Ее кажинный вечер мухинский конторщик щиколладом удовлетворяет.

Уклейкин идет решительно, высоко подымая тощие, узловатые ноги, словно выдергивает их из мостовой. Как гремучая змея хвостом, шмурыгает

он опорками, подтягивая на ходу остатки порванных штанов. Испитое, зеленоватое лицо сосредоточенно-мрачно, а глаза водянисты и тусклы. Он уже потерял картуз и следит за опорками. Мальчишки веселым роем кружат и жалят.

— Жулье!.. шкалики!..

Он выдирает слова из нутра, и они падают толчками, как маленькие частые пули. Худая рука поднята и грозит пальцем, а глаза видят какую-то никому не ведомую точку.

— Уклейкину почет-уважение! Отошел?.. Клади им!..

— Предались!.. Шпана!.. Дар-рмоед!

— Сыпь! Жарь! Качай их! Во-от!..

Толпа подвигается вместе с Уклейкиным к посту.

— Достигну!.. Сыщу!.. Што?.. Душ-ши!.. Брюшники!.. Манжетники, черти!.. Што-о? Пропущай!

Полицейский стоит, расставив руки, и следит за Уклейкиным, словно играет в коршуны.

— Ты лутче не шкандаль. Гуляй себе и не шкандаль!

— Пропущай!.. Слово хочу!

— Нет тебе ходу дальше!

— В-вы... так што... полицейский? Рази я допускаю, што...

Уклейкин таращит остеклевшие глаза, пытается говорить отчетливо и казаться вежливым и трезвым, и голос его играет.

— Та-ак... А п-позвольте вас спросить... Вы... госпо-дин полицейский? Правильно я говорю?.. Хо-рош-шо... Вы тут постановлены... для чего? Для пор-рядков? Хо-рро-шо-о. Для порядков вы тут постановлены? Вас тут установили? Та-ак... А вы, какое такое правило, што вы... не хотите никого пропускать?.. А? Ежели я житель... и все такое... Могу я гулять по воздуху... и при публике, а? Могу я выражать, штобы...

— Вот тебе публика, и гуляй!

— А я в разные стороны хочу. Вить я житель... и все жители... А мне публику надо... пу-бли-ку!.. Шпана! Шкалики!.. Слово хочу сказать. Пропущай!

И он выпячивает грудь, накрытую затертым фартуком.

— Раз ты намерен безобразить, я чичас тебя...

— За-чем, безобразий нет... Вы не пропускаете жите-лев... и я... А позвольте вас спросить: тебе кто жалованье платит, а? Не-ет, ты не заслоняй... Я вот неграмотный и ничего не знаю, а вы знаете все законы... и хочу вас спросить... Вы не желаете сказать? Та-ак, хор-ро-шо. А ежели я городской голове слово хочу сказать. Ж-жулик! Всех жителей обокрал! Шкалик!..

— В-во-от чисти-ит!.. Н-ну-у...

— В Сибирь его!

— Ты не безобразь! За такие слова тебя...

— Поволокешь? Н-на-а!.. Я го-спо-ди-ну... приставу слово хочу сказать.

— Ты до начальства не прикасайся... Ты не...

— Трешник слопал! В сапогах ходить любит... Где такое правило? Предались!

— Правильно! Он вить хочь пьян, а понимает.

— Дак ты што ж это?..

Полицейский колеблется, — взять или допустить. Но народ все свой.

— Не тревожь его, господин полицейский... пусть его!..

— Уклеикин, стих скажи! Здорово у него слажено... Вон и барышни жауют.

Уклеикин оглядывается на окна. Розовые лица молоденьких портних задорно смеются.

— У-ух ты! Мамзели! Веселые барышни!.. Не намните грудки, оставьте маненько для Мишутки!..

— Ах шут эдакой, загнул!..

Взвизгивают сочные молодые голоски. Смеются все, даже полицейский. Уклеикин переменяет тон, а это обещает зрелище захватывающее.

— Эх, подобью каблучки-набойки, ходи с угла до помойки!

Веселым гулом отзывается всегда сонный переулочок. Приседают, хлопают Уклеикина по плечу, задорят.

— Уважь еще, Уклеикин!.. Про комариков-то... Вот продернет!..

— Стой!

И-эх и блошки мои, комарики,
Не горят наши фонарики!! А отчево?
То-то! Оттово, што городская управа
Тащит налево и направо...

— Ну, пропущай!.. Правду хочу изложить.

— Налють тебе, брат, за правду.

— А мы выльем!

И-эх и каблучки мои подметки!
И охотник я до водки!
Пью портейн я и мадер
И шинпанскую партер!

— И набирает, шут его возьми...

— Пропущай! Тебе говорят!

— Уклеикин, про полицию вали!

— Про пристава! Гы-гы-гы... Гладко у его про пристава... Да не бойсь!

— Боюсь? Я?! Супротив хочь кого!

Полицейский тревожится, — можно ли. Но он не слышал еще про пристава.

— Здесь можешь все, а туда не допущено.

— Прорвусь!..

— Не прорвешься.
— Достигну! Я их во как изуважу!.. Жулье!
— Ну-ка, про несчастного-то... Вклей!..
— Л-ладно... Я ему пропою... ширококрылому черту... Давай его сюды!..
Н-ну!..

Уж и Иванов... наш пристав частный...
Ужась человек несчастный!
Страсть!..

— Во-во... как сейчас резанет... Ну-ка!

Ни попить ему, ни съесть, —
Все бы как в карман залезть...

— А то в морду слазить... Он ма-астер...

И чистит зубы ломовым,
Однако часто... и городовым!

Уклейкин щурит глаз и делает пояснительный жест.

— Ну, уж это ты... Ломовым это так, а...

Полицейский не совсем доволен.

— А Митреву-то? — возражает медник.

— Ну, дак это на пожаре... Дело горячее...

Полицейский кладет на плечо Уклейкину руку и говорит примирительно:

— Ну, вот што, Уклейкин... ступай ты теперь к Матрене и не скандаль.

— Ты меня Матреной? Ма-тре-на!.. Тьфу! Шкура! Понимаю я себя ай нет?
Пропущай! На публику хочю!.. Н-ну!

— Не лезь, нельзя.

— Пущай! Я житель... житель я ай нет? Не можешь меня... Пу-усти!

Уклейкин напирает лицо к лицу, выпячивает грудь и откидывает голову.

— Што ж не пропускаешь-то его, в самделе... Дай ему душу-то отвести...
Может он гулять-то!

— Расходись, ежели безобразить!.. Не скопляйси! Боле как троим не приказано... Н-ну-у!

А из-за толпы уже подобралась рослая, румяная баба и перехватывает Уклейкина за пиджак.

— Шкилет ты окаянный, а! Долго мытарить-то ты меня будешь, гнида ты несчастная, а?

Уклейкин сразу вянет, заслоняется рукой и бормочет:

— Не трожь... Сам, сам пойду... Ты не...

— У, несеть, кабашник! Ишь дармоеды, го-го-го! Лупоносы!

Она тащит Уклеикина за плечо, тычет в спину, и он идет толчками, откидываясь назад и на ходу вскакивая в опорки.

— Дай ей леща! Опоркой-то по башке! Э, зеваный черт!

Все еще не расходятся: сочувствуют Уклеикину и ругают Матрену.

— На меня б ее, печенки бы заиграли! — говорит кузнец.

— Уж и намылит она его, нашкипидарит!.. Чичас он еще в чувстве, а вот когда врястяжку, уж и лупит она его!.. Полсапожками по грудям, куда влезет.

— Баба могучая, д-д-а-а...

— Прямо клей! Все соки из его выбрала... Вот какая баба — грудка!

— У ей крови много... путаная. С отцом дяконом допрежь она все... Да вот у Власия-то на Стрижах, кудластый-то был... Стирала она у него, а он...

— М-да-а... Баба невредная...

— Хи-хи-хи! — заливались портнихи.

— А вы не слушайте, мы тут про деликатное толкуем.

— А мы и не знаем.

— А не знаете, так спускайтесь вечерком, узнаете...

Застучали медники. Застрочили машинки. Ударили к вечерням.

II

Когда случалось, в запой, попасть на Золотую улицу, Уклеикин первым делом направлялся к дому городского головы.

— Ага! Городская голова! Л-ловко! В три этажа загнул... Чи-исто!.. С миру по нитке — голому рубаха.

Мчался, брызгая грязью, рысак с окаменелым чудом на передке, и Уклеикин раскланивался вслед.

— Благодетели гуляют... От-лич-но!

Перед колоннадой депутатского собрания он брал картуз в обе руки, прижимал к груди и поднимал глаза к небу.

— «Дом бла-а-род-но-го дво-рян-ства»! Та-ак. Храм! Шапочку, господин, сымите.

...Отцы вы наши и родители,
Дворянские производители!..

Хохотала извозчичья биржа, а бульварчиком подкрадывался полицейский. Участок Уклеикин обходил стороной, усаживался на уголке на тумбочку и говорил выразительно:

— Правительственный си-нод!.. Не подходи близко... Жулье!

Его тянуло сюда, как бабочку огонь, как поднятого зайца последнее логовище.

— Ежели ты у меня ешшо...

И Уклеикин летел с тумбочки, теряя опорки.

— Вдарь! Н-ну... еще! Тир-рань! М-можешь!..

И снова падал.

Одно время хотели даже выслать его из города, но вице-губернатор сказал:

— Оставьте. Скажут — деморализация власти. Приказать строго-настрого полиции не пускать его в общественные места в нетрезвом состоянии... Вот!

С тех пор Уклейкина перехватывали на перекрестках.

— Жулье!.. Шкалики!.. Шпана!..

Скромная тишина летнего вечера, упоенного отзвуками военного оркестра, нарушена, и тревожно вздрагивает самоуверенная труба, теряя такт. И обыватели уже оторвали взоры от молодецкой фигуры красноносого усача-капельмейстера.

— Уклейкина гонят!

— Где, где гонят?

— Да вон, к палате побежал. Вон стегает-то!

— Споткнулся.

— И вовсе не споткнулся... Это он за опоркой.

— Нет, перехватили.

Но труба уже отыскала потерянный такт, снова гремит ободряющий марш «Под двуглавым орлом», и граждане снова чихают в шелесте шелковых юбок.

— И с чего это в нем? — рассуждали иногда в переулке.

— С чего... Белый он! — говорил кузнец.

— То есть как белый?

— Известно как... вроде горячки.

— Зуда в нем такая есть, — пояснял церковный сторож. — Которая зуда... зудит она. Одначе, и выходит, ежели теперь...

— Какая, к черту, зуда! Просто дух такой, который...

— Ду-ух... Винный!..

— Там какой ни есть. Такой он, что ль, был? Не помню я его?

Да, когда-то Уклейкин был знаток песни и балалайки, балагур и форсун, старательно расчесывал вихры медным гребешком и начищал скрипучие сапоги до жару. Носил строченую косоворотку, по праздникам сморкался в красный платок и заходил в парикмахерскую «подровняться».

Когда-то — давно это было, да и было ли? — тихими весенними вечерами, на лавочке у ворот, точно лопались вдруг струны взбешенной балалайки, затуманившиеся глаза заглядывали в глубокое, звездами осыпанное небо, и тихий, родившийся в душе вздох терялся в дребезжанье извозчицкой пролетки.

Это было давно. А может быть, и не было этого.

Не было ни старого полицеймейстерского сада, белой черемухи, сыпавшей в лунные ночи летним снегом, ни скрипучего оконца в сених, где, затаившись в тени стен, робко оплакивала себя молоденькая полицеймейстерская нянька под неудержимо-раскатистые перехваты «барыни». А с неба тянулась вешняя, любовная грусть.

— Митюш, ты?